

Литрес ≡ Классика

Исаак Бабель

КОНАРМИЯ



Исаак Бабель

Конармия

«ЛитРес»

1937

УДК 821.161.1
ББК 83.3(2Рос=Рус)6

Бабель И. Э.

Конармия / И. Э. Бабель — «ЛитРес», 1937

Цикл рассказов, основанный на личном опыте писателя в советско-польской войне 1920 года. Под вымышленным именем Кирилл Лютов – интеллигент, очкарик, чужой среди грубой массы – повествователь проходит с Первой Конной армией, наблюдая за ужасами, жестокостью и одновременно героикой будней. Это обжигающая проза, где военный репортаж переплавляется в поэзию, а из коротких, как выстрел, зарисовок складывается эпос о крови и милосердии, смерти и бессмертии.

УДК 821.161.1
ББК 83.3(2Рос=Рус)6

© Бабель И. Э., 1937
© ЛитРес, 1937

Содержание

Автобиография	5
Конармия	6
Переход через Збруч	6
Костел в Новограде	8
Письмо	10
Начальник конзапаса	13
Пан Аполек	15
Солнце Италии	19
Гедали	21
Мой первый гусь	23
Рабби[17]	25
Путь в Броды	27
Конец ознакомительного фрагмента.	28

Исаак Эммануилович Бабель

Конармия

Автобиография

Родился в 1894 году в Одессе, на Молдаванке, сын торговца-еврея. По настоянию отца изучал до шестнадцати лет еврейский язык, Библию, Талмуд¹. Дома жилось трудно, потому что с утра до ночи заставляли заниматься множеством наук. Отдыхал я в школе. Школа моя называлась Одесское коммерческое имени императора Николая I училище. Там обучались сыновья иностранных купцов, дети еврейских маклеров, сановитые поляки, старообрядцы и много великовозрастных билльярдистов. На переменах мы уходили, бывало, в порт на эстакаду, или в греческие кофейни играть на билльярде, или на Молдаванку пить в погребках дешевое бессарабское вино. Школа эта незабываема для меня еще и потому, что учителем французского языка был там м-г Вадон. Он был бретонец и обладал литературным дарованием, как все французы. Он обучил меня своему языку, я затвердил с ним французских классиков, сошелся близко с французской колонией в Одессе и с пятнадцати лет начал писать рассказы на французском языке. Я писал их два года, но потом бросил: пейзажи и всякие авторские размышления выходили у меня бесцветно, только диалог удавался мне. Потом, после окончания училища, я очутился в Киеве и в 1915 году в Петербурге. В Петербурге мне пришлось ужасно худо, у меня не было правожительства, я избегал полиции и квартировал в погребе на Пушкинской улице у одного растерзанного, пьяного официанта. Тогда в 1915 году я начал разносить мои сочинения по редакциям, но меня отовсюду гнали, все редакторы (покойный Измайлов, Поссе и др.) убеждали меня поступить куда-нибудь в лавку, но я не послушался их и в конце 1916 года попал к Горькому. И вот – я всем обязан этой встрече и до сих пор произношу имя Алексея Максимовича с любовью и благоговением. Он напечатал первые мои рассказы в ноябрьской книжке «Летописи» за 1916 год (я был привлечен за эти рассказы к уголовной ответственности по 1001 ст.), он научил меня необыкновенно важным вещам, и потом, когда выяснилось, что два-три сносных моих юношеских опыта были всего только случайной удачей, и что с литературой у меня ничего не выходит, и что я пишу удивительно плохо, – Алексей Максимович отправил меня в люди. И я на семь лет – с 1917 по 1924 – ушел в люди. За это время я был солдатом на румынском фронте, потом служил в Чека, в Наркомпросе, в продовольственных экспедициях 1918 года, в Северной армии против Юденича, в 1-й Конной армии, в Одесском губкоме, был выпускающим в 7-й советской типографии в Одессе, был репортером в Петербурге и в Тифлисе и проч. И только в 1923 году я научился выражать мои мысли ясно и не очень длинно. Тогда я вновь принялся сочинять. Начало литературной моей работы я отношу поэтому к началу 1924 года, когда в 4-й книге журнала «ЛЕФ» появились мои рассказы «Соль», «Письмо», «Смерть Долгушова», «Король» и др.

И. Бабель

¹ Талмуд – свод религиозных трактатов, содержащий основные религиозно-этические и правовые положения иудаизма.

Конармия

Переход через Збруч



Начдив шесть донес о том, что Новоград-Волынский взят сегодня на рассвете. Штаб выступил из Крапивно, и наш обоз шумливым арьергардом растянулся по шоссе, по неувядаемому шоссе², идущему от Бреста до Варшавы и построенному на мужичьих костях Николаем Первым.

Поля пурпурного мака цветут вокруг нас, полуденный ветер играет в желтеющей ржи, девственная гречиха встает на горизонте, как стена дальнего монастыря. Тихая Волынь изгибается, Волынь уходит от нас в жемчужный туман березовых рощ, она вползает в цветистые пригорки и ослабевшими руками путается в зарослях хмеля. Оранжевое солнце катится по небу, как отруб ленная голова, нежный свет загорается в ущельях туч, штандарты заката веют

² Варшавское шоссе, построенное в Российской империи в XIX в. Участок между Варшавой и Брестом был запущен на самом деле в 1823 г. – еще при правлении Александра I. Встречный участок – между Москвой и Брестом – был закончен в 1849 г. – при Николае I.

над нашими головами. Запах вчерашней крови и убитых лошадей каплет в вечернюю прохладу. Почерневший Збруч³ шумит и закручивает пенистые узлы своих порогов. Мосты разрушены, и мы переезжаем реку вброд. Величавая луна лежит на волнах. Лошади по спине уходят в воду, звучные потоки сочатся между сотнями лошадиных ног. Кто-то тонет и звонко порочит богородицу. Река усеяна черными квадратами телег, она полна гула, свиста и песен, гремящих поверх лунных змей и сияющих ям.

Поздней ночью приезжаем мы в Новоград. Я нахожу беременную женщину на отведенной мне квартире и двух рыжих евреев с тонкими шеями; третий спит уже, укрывшись с головой и приткнувшись к стене. Я нахожу развороченные шкафы в отведенной мне комнате, обрывки женских шуб на полу, человеческий кал и черепки сокроенной посуды, употребляющейся у евреев раз в году – на Пасху⁴.

– Уберите, – говорю я женщине. – Как вы грязно живете, хозяева...

Два еврея снимаются с места. Они прыгают на войлочных подошвах и убирают обломки с полу, они прыгают в безмолвии, по-обезьянны, как японцы в цирке, их шеи пухнут и вертятся. Они кладут мне распоротую перину, и я ложусь к стенке, рядом с третьим, заснувшим евреем. Пугливая нищета смыкается тотчас над моим ложем.

Все убито тишиной, и только луна, обхватив синими руками свою круглую, блещущую, беспечную голову, бродяжит под окном.

Я разминаю затекшие ноги, я лежу на распоротой перине и засыпаю. Начдив шесть снится мне. Он гонится на тяжелом жеребце за комбригом и всаживает ему две пули в глаза. Пули пробивают голову комбрига, и оба глаза его падают наземь. «Зачем ты поворотил бригаду?» – кричит раненому Савицкий, начдив шесть, – и тут я просыпаюсь, потому что беременная женщина шарит пальцами по моему лицу.

– Пανε, – говорит она мне, – вы кричите со сна, и вы бросаетесь. Я постелю вам в другом углу, потому что вы толкаете моего папашу...

Она поднимает с полу худые ноги и круглый живот и снимает одеяло с заснувшего человека. Мертвый старик лежит там, закинувшись навзничь. Глотка его вырвана, лицо разрублено пополам, синяя кровь лежит в его бороде, как кусок свинца.

– Пανε, – говорит еврейка и встряхивает перину, – поляки резали его, и он молился им: убейте меня на черном дворе, чтобы моя дочь не видела, как я умру. Но они сделали так, как им было удобнее, – он кончался в этой комнате и думал обо мне. И теперь я хочу знать, – сказала вдруг женщина с ужасной силой, – я хочу знать, где еще на всей земле вы найдете такого отца, как мой отец...

Новоград-Волынский, июль 1920 г.

³ Збруч – река. Приток Днестра. В 1815–1918 гг. Збруч был пограничной рекой между Российской империей и Австрийской империей (с 1867 – Австро-Венгрией). В 1921–1939 гг. по реке проходила советско-польская граница.

⁴ Имеется в виду специальная кошерная посуда, которую используют на еврейский праздник Песах (Пасха). В остальное время она хранится в доме отдельно.

Костел в Новограде

Я отправился вчера с докладом к военкому, остановившемуся в доме бежавшего ксендза⁵. На кухне встретила меня пани Элиза, экономка иезуита⁶. Она дала мне янтарного чаю с бисквитами. Бисквиты ее пахли, как распятие. Лукавый сок был заключен в них и благовонная ярость Ватикана.

Рядом с домом в костеле ревели колокола, заведенные обезумевшим звонарем. Был вечер, полный июльских звезд. Пани Элиза, тряся внимательными сединами, подсыпала мне печенья, я наслаждался пищей иезуитов.

Старая полька называла меня «паном», у порога стояли навтыжку серые старики с окостеневшими ушами, и где-то в змеином сумраке извивалась сутана монаха. Патер бежал, но он оставил помощника – пана Ромуальда.

Гнусавый скопец с телом исполина, Ромуальд величал нас «товарищами». Желтым пальцем водил он по карте, указывая круги польского разгрома. Охваченный хриплым восторгом, пересчитывал он раны своей родины. Пусть кроткое забвение поглотит память о Ромуальде, предавшем нас без сожаления и расстрелянном мимоходом. Но в тот вечер его узкая сутана шевелилась у всех портьер, яростно мела все дороги и усмехалась всем, кто хотел пить водку. В тот вечер тень монаха кралась за мной неотступно. Он стал бы епископом – пан Ромуальд, если бы он не был шпионом.

Я пил с ним ром, дыхание невиданного уклада мерцало под развалинами дома ксендза, и вкрадчивые его соблазны обессилили меня. О, распятия, крохотные, как талисманы куртизанки, пергамент папских булл и атлас женских писем, истлевших в синем шелку жилетов!..

Я вижу тебя отсюда, неверный монах, в лиловой рясе, припухлость твоих рук, твою душу, нежную и безжалостную, как душа кошки, я вижу раны твоего Бога, сочащиеся семенем, благоуханным ядом, опьяняющим девственниц.

Мы пили ром, дожидаясь военкома, но он все не возвращался из штаба. Ромуальд упал в углу и заснул. Он спит и трепещет, а за окном в саду под черной страстью неба переливается аллея. Жаждающие розы колышутся во тьме. Зеленые молнии пылают в куполах. Раздетый труп валяется под откосом. И лунный блеск струится по мертвым ногам, торчащим врозь.

Вот Польша, вот надменная скорбь Речи Посполитой! Насильственный пришелец, я раскидываю вшивый тюфяк в храме, оставленном священнослужителем, подкладываю под голову фолианты, в которых напечатана осанна ясновельможному и пресветлому Начальнику Панства, Иозефу Пильсудскому⁷.

Нищие орды катятся на твои древние города, о Польша, песнь об единении всех холопов гремит над ними, и горе тебе, Речь Посполитая, горе тебе, князь Радзивилл, и тебе, князь Сапега, вставшие на час!..

Все нет моего военкома. Я ищу его в штабе, в саду, в костеле. Ворота костела раскрыты, я вхожу, мне навстречу два серебряных черепа разгораются на крышке сломанного гроба. В испуге я бросаюсь вниз, в подземелье. Дубовая лестница ведет оттуда к алтарю. И я вижу множество огней, бегущих в высоту, у самого купола. Я вижу военкома, начальника особого

⁵ Ксёндз – польский католический священнослужитель.

⁶ Иезуит – член мужского духовного ордена Римско-католической церкви. Орден иезуитов был основан в 1534 г. Игнатием Лойолой и утвержден папой Павлом III в 1540 г.

⁷ Имеется в виду Пилсудский Юзеф – польский военный, государственный и политический деятель, первый глава возрожденного Польского государства, основатель польской армии. Польское государство было восстановлено в 1918 г. под названием Польская республика или Вторая Речь Посполитая. До того территории Польши были поделены между Российской империей, Пруссией и Австрией.

отдела и казаков со свечами в руках. Они отзываются на слабый мой крик и выводят меня из подвала.

Череп, оказавшиеся резьбой церковного катафалка, не пугают меня больше, и все вместе мы продолжаем обыск, потому что это был обыск, начатый после того, как в квартире ксендза нашли груды военного обмундирования.

Сверкая расшитыми конскими мордами наших обшлагов, перешептываясь и гремя шпорами, мы кружимся по гулкому зданию с оплывающим воском в руках. Богоматери, униженные драгоценными камнями, следят наш путь розовыми, как у мышей, зрачками, пламя бьется в наших пальцах, и квадратные тени корчатся на статуях святого Петра, святого Франциска, святого Винцента, на их румяных щечках и курчавых бородах, раскрашенных кармином.

Мы кружимся и ищем. Под нашими пальцами прыгают костяные кнопки, раздвигаются разрезанные пополам иконы, открывая подземелья в зацветающие плесенью пещеры. Храм этот древен и полон тайн. Он скрывает в своих глянцевиных стенах потайные ходы, ниши и створки, распахивающиеся бесшумно.

О, глупый ксендз, развесивший на гвоздях спасителя лифчики своих прихожанок. За царскими вратами мы нашли чемодан с золотыми монетами, сафьяновый мешок с кредитками и футляры парижских ювелиров с изумрудными перстнями.

А потом мы считали деньги в комнате военкома. Столбы золота, ковры из денег, порывистый ветер, дующий на пламя свечей, воронье безумье в глазах пани Элизы, громовый хохот Ромуальда и нескончаемый рев колоколов, заведенных паном Робацким, обезумевшим звонарем.

«Прочь, – сказал я себе, – прочь от этих подмигивающих мадонн, обманутых солдатами»...

Письмо

Вот письмо на родину, продиктованное мне мальчиком нашей экспедиции Курдюковым. Оно не заслуживает забвения. Я переписал его, не приукрашивая, и передаю дословно, в согласии с истиной.

«Любезная мама, Евдокия Федоровна. В первых строках сего письма спешу вас уведомить, что, благодаря господу, я есть жив и здоров, чего желаю от вас слышать то же самое. А также нижающе вам кланяюсь, от бела лица до сырой земли...» (Следует перечисление родственников, крестных, кумовьев. Опустим это. Перейдем ко второму абзацу.)

«Любезная мама, Евдокия Федоровна Курдюкова. Спешу вам написать, что я нахожусь в красной Конной армии товарища Буденного, а также тут находится ваш кум Никон Васильич, который есть в настоящее время красный герой. Они взяли меня к себе, в экспедицию Политотдела, где мы развозим на позиции литературу и газеты – Московские Известия ЦИК, Московская Правда и родную беспощадную газету Красный кавалерист, которую всякий боец на передовой позиции желает прочесть, и опосля этого он с геройским духом рубает подлую шляхту⁸, и я живу при Никон Васильиче очень великолепно.

Любезная мама, Евдокия Федоровна. Пришлите чего можете от вашей силы-возможности. Прошу вас заколоть рябого кабанчика и сделать мне посылку в Политотдел товарища Буденного, получить Василию Курдюкову. Каждые сутки я ложусь отдыхать не евши и безо всякой одежды, так что дюже холодно. Напишите мне письмо за моего Степу, живой он или нет, прошу вас, досматривайте до него и напишите мне за него – засекается он еще или перестал, а также насчет чесотки в передних ногах, подковали его или нет? Прошу вас, любезная мама Евдокия Федоровна, обмывайте ему беспрерывно передние ноги с мылом, которое я оставил за образами, а если папаша мыло истребили, так купите в Краснодаре, и бог вас не оставит. Могу вам писать также, что здесь страна совсем бедная, мужики со своими конями хоронятся от наших красных орлов по лесам, пшеницы, видать, мало, и она ужасно мелкая, мы с нее смеемся. Хозяева сеют рожь и то же самое овес. На палках здесь растет хмель, так что выходит очень аккуратно; из него гонют самогон.

Во вторых строках сего письма спешу вам описать за папашу, что они порубали брата Федора Тимофеича Курдюкова тому назад с год времени. Наша красная бригада товарища Павличенки наступала на город Ростов, когда в наших рядах произошла измена. А папаша были в тое время у Деникина за командира роты. Которые люди их видали, – то говорили, что они носили на себе медали, как при старом режиме. И по случаю той измены, всех нас побрали в плен, и брат Федор Тимофеич попались папаше на глаза. И папаша начали Федю резать, говоря – шкура, красная собака, сукин сын и разно, и резали до темноты, пока брат Федор Тимофеич не кончился. Я написал тогда до вас письмо, как ваш Федя лежит без креста. Но папаша пымали меня с письмом и говорили: вы – материны дети, вы – ейный корень, потаскухин, я вашу матку брюхатил и буду брюхатить, моя жизнь погибшая, изведу я за правду свое семя, и еще разно. Я принимал от них страдания, как спаситель Иисус Христос. Только вскорости я от папаши убежал и прибилсь до своей части товарища Павличенки. И наша бригада получила приказание итти в город Воронеж пополняться, и мы получили там пополнение, а также коней, сумки, наганы и все, что до нас принадлежало. За Воронеж могу вам описать, любезная мама Евдокия Федоровна, что это городок очень великолепный, будет поболее Краснодара, люди в нем очень красивые, речка способная до купанья. Давали нам хлеба по два фунта

⁸ Шляхта – польское дворянство; привилегированное сословие в ряде стран Центральной и Восточной Европы, входивших в состав Речи Посполитой или находившихся под ее культурным влиянием.

в день, мяса полфунта и сахару подходяще, так что вставши пили сладкий чай, то же самое вечеряли и про голод забыли, а в обед я ходил к брату Семен Тимофеичу за блинами или гусятиной и опосля этого лягал отдыхать. В тое время Семен Тимофеича за его отчаянность весь полк желал иметь за командира и от товарища Буденного вышло такое приказание, и он получил двух коней, справную одежду, телегу для барахла отдельно и орден Красного Знамени, а я при ем считался братом. Таперича какой сосед вас начнет забижать – то Семен Тимофеич может его вполне зарезать. Потом мы начали гнать генерала Деникина, порезали их тыщи и загнали в Черное море, но только папаши нигде не было видать, и Семен Тимофеич их разыскивали по всех позициях, потому что они очень скучали за братом Федей. Но только, любезная мама, как вы знаете за папашу и за его упорный характер, так он что сделал – нахально покрасил себе бороду с рыжей на вороную и находился в городе Майкопе, в вольной одеже, так что никто из жителей не знали, что он есть самый что ни на есть стражник при старом режиме. Но только правда – она себе окажет, кум ваш Никон Васильич случаем увидел его в хате у жителя и написал до Семен Тимофеича письмо. Мы посадили на коней и пробегли двести верст – я, брат Сенька и желающие ребята из станицы.

И что же мы увидали в городе Майкопе? Мы увидали, что тыл никак не сочувствует фронту и в ем повсюду измена и полно жидов, как при старом режиме. И Семен Тимофеич в городе Майкопе с жидами здорово спорился, которые не выпускали от себя папашу и засадили его в тюрьму под замок, говоря – пришел приказ товарища Троцкого не рубать пленных, мы сами его будем судить, не сердчайте, он свое получит. Но только Семен Тимофеич свое взял и доказал, что он есть командир полка и имеет от товарища Буденного все ордена Красного Знамени, и грозился всех порубать, которые спорятся за папашину личность и не выдают ее, и также грозились ребята со станицы. Но только Семен Тимофеич папашу получили, и они стали папашу плетить и выстроили во дворе всех бойцов, как принадлежит к военному порядку. И тогда Сенька плеснул папаше Тимофей Родионычу воды на бороду, и с бороды потекла краска. И Сенька спросил Тимофей Родионыча:

– Хорошо вам, папаша, в моих руках?

– Нет, – сказал папаша, – худо мне.

Тогда Сенька спросил:

– А Феде, когда вы его резали, хорошо было в ваших руках?

– Нет, – сказал папаша, – худо было Феде.

Тогда Сенька спросил:

– А думали вы, папаша, что и вам худо будет?

– Нет, – сказал папаша, – не думал я, что мне худо будет.

Тогда Сенька повернулся к народу и сказал:

– А я так думаю, что если попадусь я к вашим, то не будет мне пощады. А теперь, папаша, мы будем вас кончать...

И Тимофей Родионыч зачал нахально ругать Сеньку по матушке и в богородицу и бить Сеньку по морде, и Семен Тимофеич услали меня со двора, так что я не могу, любезная мама Евдокия Федоровна, описать вам за то, как кончали папашу, потому я был усланный со двора.

Опосля этого мы получили стоянку в городе в Новороссийском. За этот город можно рассказать, что за ним никакой суши больше нет, а одна вода, Черное море, и мы там оставались до самого мая, когда выступили на польский фронт и треплем шляхту почем зря...

Остаюсь ваш любезный сын Василий Тимофеич Курдюков.

Мамка, доглядайте до Степки, и бог вас не оставит»...

Вот письмо Курдюкова, ни в одном слове не измененное. Когда я кончил, он взял исписанный листок и спрятал его за пазуху, на голое тело.

– Курдюков, – спросил я мальчика, – злой у тебя был отец?

– Отец у меня был кобель, – ответил он угрюмо.

– А мать лучше?

– Мать подходящая. Если желаешь – вот наша фамилия...

Он протянул мне сломанную фотографию. На ней был изображен Тимофей Курдюков, плечистый стражник в форменном картузе и с расчесанной бородой, недвижный, скуластый, со сверкающим взглядом бесцветных и бессмысленных глаз. Рядом с ним, в бамбуковом креслице, мерцала крохотная крестьянка в выпущенной кофте, с чахлыми светлыми и застенчивыми чертами лица. А у стены, у этого жалкого провинциального фотографического фона, с цветами и голубями, высились два парня – чудовищно огромные, тупые, широколицые, лупоглазые, застывшие, как на ученье, два брата Курдюковых – Федор и Семен.

Начальник конзапаса

На деревне стон стоит. Конница травит хлеб и меняет лошадей. Взамен приставших кляч кавалеристы забирают рабочую скотину. Бранить тут некого. Без лошади нет армии.

Но крестьянам не легче от этого сознания. Крестьяне неотступно толпятся у здания штаба.

Они тащат на веревках упирающихся, скользких от слабости одров⁹. Лишенные кормильцев, мужики, чувствуя в себе прилив горькой храбрости и зная, что храбрости ненадолго хватит, спешат безо всякой надежды надерзить начальству, Богу и своей жалкой доле.

Начальник штаба Ж. в полной форме стоит на крыльце. Прикрыв воспаленные веки, он с видимым вниманием слушает мужичьи жалобы. Но внимание его не более как прием. Как и всякий вышколенный и переутомившийся работник, он умеет в пустые минуты существования полностью прекратить мозговую работу. В эти немногие минуты коровьего блаженного бессмыслия начальник нашего штаба встряхивает изношенную машину.

Так и на этот раз с мужиками.

Под успокоительный аккомпанемент их бессвязного и отчаянного гула Ж. следит со стороны за той мягкой толкотней в мозгу, которая предвещает чистоту и энергию мысли. Дождавшись нужного перебоя, он ухватывает последнюю мужичью слезу, начальственно огрызается и уходит к себе в штаб работать.

На этот раз и огрызнуться не пришлось. На огненном своем англо-арабе подскакал к крыльцу Дьяков, бывший цирковой атлет, а ныне начальник конского запаса – краснорожий, седоусый, в черном плаще и с серебряными лампасами вдоль красных шаровар.

– Честным стервам игуменье благословенье! – прокричал он, осаживая коня на карьере, и в то же мгновенье к нему под стремя подвалилась облезлая лошадедка, одна из обмененных казаками.

– Вон, товарищ начальник, – завопил мужик, хлопая себя по штанам, – вон чего ваш брат дает нашему брату... Видал, чего дают? Хозяйствуй на ей.

– А за этого коня, – отдельно и веско начал тогда Дьяков, – за этого коня, почтенный друг, ты в полном своем праве получить в конском запасае пятнадцать тысяч рублей, а ежели этот конь был бы повеселее, то в ефтим случае ты получил бы, желанный друг, в конском запасае двадцать тысяч рублей. Но, однако, что конь упал, – это не хвакт. Ежели конь упал и подымается, то это – конь; ежели он, обратно сказать, не подымается, тогда это не конь. Но, между прочим, эта справная кобылка у меня подымется...

– О господи, мамуня же ты моя всемилостивая! – взмахнул руками мужик. – Где ей, сироте, подняться... Она, сирота, подохнет...

– Обижаешь коня, кум, – с глубоким убеждением ответил Дьяков, – прямо-таки богохульствуешь, кум, – и он ловко снял с седла свое статное тело атлета. Расправляя прекрасные ноги, схваченные в коленях ремешком, пышный и ловкий, как на сцене, он двинулся к издыхающему животному. Оно уныло уставилось на Дьякова своим крутым глубоким глазом, слизнуло с его малиновой ладони невидимое какое-то повеление, и тотчас же обессиленная лошадь почувствовала умелую силу, истекавшую от этого седого, цветущего и молодцеватого Ромео. Поводя мордой и скользя подламывающимися ногами, ощущая нетерпеливое и властное щекотание хлыста под брюхом, кляча медленно, внимательно становилась на ноги. И вот все мы увидели, как тонкая кисть в развевающемся рукаве потрепала грязную гриву и хлыст со стоном прильнул к кровоточащим бокам. Дрожа всем телом, кляча стояла на своих на четырех и не сводила с Дьякова собачьих, боязливых, влюбляющихся глаз.

⁹ Одёр (*прост.*) – старая, изнуренная лошадь.

– Значит, что конь, – сказал Дьяков мужику и добавил мягко: – А ты жалился, желанный друг...

Бросив ординарцу поводья, начальник конзапаса взял с маху четыре ступеньки и, взметнув оперным плащом, исчез в здании штаба.

Белев, июль 1920 г.

Пан Аполек

Прелестная и мудрая жизнь пана Аполека ударила мне в голову, как старое вино. В Новоград-Волынске, в наспех смятом городе, среди скрюченных развалин, судьба бросила мне под ноги укрытое от мира евангелие. Окруженный простодушным сиянием нимбов, я дал тогда обет следовать примеру пана Аполека. И сладость мечтательной злобы, горькое презрение к псам и свиньям человечества, огонь молчаливого и упоительного мщения – я принес их в жертву новому обету.

В квартире бежавшего новоградского ксендза висела высоко на стене икона. На ней была надпись: «Смерть Крестителя». Не колеблясь, признал я в Иоанне изображение человека, мною виденного когда-то.

Я помню: между прямых и светлых стен стояла паутиная тишина летнего утра. У подножья картины был положен солнцем прямой луч. В нем роилась блещущая пыль. Прямо на меня из синей глубины ниши спускалась длинная фигура Иоанна. Черный плащ торжественно висел на этом неумолимом теле, отвратительно худом. Капли крови блистали в круглых застежках плаща. Голова Иоанна была косо срезана с ободранной шеи. Она лежала на глиняном блюде, крепко взятом большими желтыми пальцами воина. Лицо мертвеца показалось мне знакомым. Предвестие тайны коснулось меня. На глиняном блюде лежала мертвая голова, списанная с пана Ромуальда, помощника бежавшего ксендза. Из оскаленного рта его, цветисто сияя чешуей, свисало крохотное туловище змеи. Ее головка, нежно-розовая, полная оживления, могущественно оттеняла глубокий фон плаща.

Я подивился искусству живописца, мрачной его выдумке. Тем удивительнее показалась мне на следующий день краснощекая Богоматерь, висевшая над супружеской кроватью пани Элизы, экономки старого ксендза. На обоих полотнах лежала печать одной кисти. Мясистое лицо Богоматери – это был портрет пани Элизы. И тут я приблизился к разгадке новоградских икон. Разгадка вела на кухню к пани Элизе, где душистыми вечерами собирались тени старой холопской Польши, с юродивым художником во главе. Но был ли юродивым пан Аполек, населивший ангелами пригородные села и произведший в святые хромого выкреста Янека?

Он пришел сюда со слепым Готфридом тридцать лет тому назад в невидный летний день. Приятели – Аполек и Готфрид – подошли к корчме¹⁰ Шмереля, что стоит на Ровненском шоссе, в двух верстах от городской черты. В правой руке у Аполека был ящик с красками, левой он вел слепого гармониста. Певучий шаг их немецких башмаков, окованных гвоздями, звучал спокойствием и надеждой. С тонкой шеи Аполека свисал канареечный шарф, три шоколадных перышка покачивались на тирольской шляпе слепого.

В корчме на подоконнике прищельцы разложили краски и гармонику. Художник размотал свой шарф, нескончаемый, как лента ярмарочного фокусника. Потом он вышел во двор, разделся донага и облил студеною водой свое розовое, узкое, хилое тело. Жена Шмереля принесла гостям изюмной водки и миску зразы¹¹. Насытившись, Готфрид положил гармонику на острые свои колени. Он вздохнул, откинул голову и пошевелил худыми пальцами. Звуки гейдельбергских песен¹² огласили прокопченные стены еврейского шинка. Аполек подпевал слепцу дребезжащим голосом. Все это выглядело так, как будто из костела святой Индегильды

¹⁰ Корчма – шинёк, постоялый двор, трактир, питейное заведение.

¹¹ Зразы (ед. зразя; из польск. zrazy, от rēzati – «резать») – распространенное блюдо белорусской, литовской, польской, русской и украинской кухонь. Это продолговатая мясная или овощная (чаще всего картофельная) котлета с начинкой из грибов, яиц, жареного лука... Картофельные зразы делают с мясом или курицей. Мясные зразы также могут готовиться в виде мясного рулета из отбивного мяса.

¹² Гейдельберг – старинный немецкий город, с которым связано литературное течение гейдельбергских романтиков.

принесли к Шмерелю орган и на органе рядышком уселись музы в пестрых ватных шарфах и подкованных немецких башмаках.

Гости пели до заката, потом они уложили в холщовые мешки гармонику и краски, и пан Аполек с низким поклоном передал Брайне, жене корчмаря, лист бумаги.

– Милостивая пани Брайна, – сказал он, – примите от бродячего художника, крещенного христианским именем Аполлинария, этот ваш портрет – как знак холопской нашей признательности, как свидетельство роскошного вашего гостеприимства. Если Бог Иисус продлит мои дни и укрепит мое искусство, я вернусь, чтобы переписать красками этот портрет. К волосам вашим подойдут жемчуга, а на груди мы припишем изумрудное ожерелье...

На небольшом листе бумаги красным карандашом, карандашом красным и мягким, как глина, было изображено смеющееся лицо пани Брайны, обведенное медными кудрями.

– Мои деньги! – вскричал Шмерель, увидев портрет жены.

Он схватил палку и пустился за постояльцами в погоню. Но по дороге Шмерель вспомнил розовое тело Аполека, залитое водой, и солнце на своем дворике, и тихий звон гармоники. Корчмарь смутился духом и, отложив палку, вернулся домой.

На следующее утро Аполек представил новоградскому ксендзу диплом об окончании мюнхенской академии и разложил перед ним двенадцать картин на темы Священного Писания. Картины эти были написаны маслом на тонких пластинках кипарисового дерева. Патер увидел на своем столе горящий пурпур мантий, блеск смарагдовых полей и цветистые покрывала, накинутые на равнины Палестины.

Святые пана Аполека, весь этот набор ликующих и простоватых старцев, седобородых, краснолицых, был втиснут в потоки шелка и могучих вечеров.

В тот же день пан Аполек получил заказ на роспись нового костела. И за бенедиктином патер сказал художнику:

– Санта Мария, – сказал он, – желанный пан Аполлинарий, из каких чудесных областей снизошла к нам ваша столь радостная благодать?..

Аполек работал с усердием, и уже через месяц новый храм был полон блеяния стад, пыльного золота закатов и палевых коровьих сосцов. Буйволы с истертой кожей влеклись в упряжке, собаки с розовыми мордами бежали впереди отары, и в колыбелях, подвешенных к прямым стволам пальм, качались тучные младенцы. Коричневые рубища францисканцев окружали колыбель. Толпа волхвов была изрезана сверкающими лысыми и морщинами, кровавыми, как раны. В толпе волхвов мерцало лисьей усмешкой старушечье личико Льва XIII¹³, и сам новоградский ксендз, перебирая одной рукой китайские резные четки, благословлял другой, свободной, новорожденного Иисуса.

Пять месяцев ползал Аполек, заключенный в свое деревянное сиденье, вдоль стен, вдоль купола и на хорах.

– У вас пристрастие к знакомым лицам, желанный пан Аполек, – сказал однажды ксендз, узнав себя в одном из волхвов и пана Ромуальда – в отрубленной голове Иоанна.

Он улыбнулся, старый патер, и послал бокал коньяку художнику, работавшему под куполом.

Потом Аполек закончил тайную вечерю и побиение камнями Марии из Магдалы. В одно из воскресений он открыл расписанные стены. Именитые граждане, приглашенные ксендзом, узнали в апостоле Павле Янека, хромого выкреста, и в Марии Магдалине – еврейскую девушку Эльку, дочь неведомых родителей и мать многих подзаборных детей. Именитые граждане приказали закрыть кощунственные изображения. Ксендз обрушил угрозы на богохульника. Но Аполек не закрыл расписанных стен.

¹³ Лев (Leo) XIII (1810–1903) – папа римский в 1878–1903 гг.

Так началась неслыханная война между могущественным телом католической церкви, с одной стороны, и беспечным богомазом – с другой. Она длилась три десятилетия – война безжалостная, как страсть иезуита. Случай едва не возвел кроткого гуляку в основатели новой ереси. И тогда это был бы самый замысловатый и смехотворный боец из всех, каких знала уклончивая и мятежная история римской церкви, боец, в блаженном хмелю обходивший землю с двумя белыми мышами за пазухой и с набором тончайших кисточек в кармане.

– Пятнадцать злотых за Богоматерь, двадцать пять злотых за Святое семейство и пятьдесят злотых за Тайную вечерю с изображением всех родственников заказчика. Враг заказчика может быть изображен в образе Иуды Искарота, и за это добавляется лишних десять злотых, – так объявил Аполек окрестным крестьянам, после того как его выгнали из строившегося храма.

В заказах он не знал недостатка. И когда через год, вызванная исступленными посланиями новоградского ксендза, прибыла комиссия от епископа в Житомире, она нашла в самых захудалых и зловонных хатах эти чудовищные семейные портреты, святотатственные, наивные и живописные. Иосифы с расчесанной надвое сивой головой, напомаженные Иисусы, много-рожавшие деревенские Марии с поставленными врозь коленями – эти иконы висели в красных углах, окруженные венцами из бумажных цветов.

– Он произвел вас при жизни в святые! – воскликнул викарий¹⁴ дубенский и новоконстантиновский, отвечая толпе, защищавшей Аполека. – Он окружил вас неизреченными принадлежностями святости, вас, трижды впадавших в грех ослушания, тайных винокуров, безжалостных заимодавцев, делателей фальшивых весов и продавцов невинности собственных дочерей!

– Ваше священство, – сказал тогда викарию колченогий Витольд, скупщик краденого и кладбищенский сторож, – в чем видит правду всемилостивейший пан Бог, кто скажет об этом темному народу? И не больше ли истины в картинах пана Аполека, угодившего нашей гордости, чем в ваших словах, полных хулы и барского гнева?

Возгласы толпы обратили викария в бегство. Состояние умов в пригородах угрожало безопасности служителей церкви. Художник, приглашенный на место Аполека, не решался замазать Эльку и хромого Янека. Их можно видеть и сейчас в боковом приделе новоградского костела: Янека – апостола Павла, боязливого хромца с черной клочковатой бородой, деревенского отщепенца, и ее, блудницу из Магдалы, хилую и безумную, с танцующим телом и впалыми щеками.

Борьба с ксендзом длилась три десятилетия. Потом казацкий разлив изгнал старого монаха из его каменного и пахучего гнезда, и Аполек – о, превратности судьбы! – водворился в кухне пани Элизы. И вот я, мгновенный гость, пью по вечерам вино его беседы.

Беседы – о чем? О романтических временах шляхетства, о ярости бабьего фанатизма, о художнике Луке делла Роббиа и о семье плотника из Вифлеема.

– Имею сказать пану писарю... – таинственно сообщает мне Аполек перед ужином.

– Да, – отвечаю я, – да, Аполек, я слушаю вас...

Но костельный служка, пан Робацкий, суровый и серый, костлявый и ушастый, сидит слишком близко от нас. Он развешивает перед нами поблекшие полотна молчания и неприязни.

– Имею сказать пану, – шепчет Аполек и уводит меня в сторону, – что Иисус, сын Марии, был женат на Деборе, иерусалимской девице незнатного рода...

– О, тен члòвек! – кричит в отчаянии пан Робацкий. – Тен человек не умрет на своей постели... Того человека забьют людове...

¹⁴ Викáрий – приходской священник, назначаемый для помощи приходскому настоятелю в пастырском служении во всем приходе, в определенной его части или для некоторой группы прихожан, а также для несения определенного служения сразу в нескольких приходах. Он замещает приходского настоятеля в его отсутствие.

– После ужина, – упавшим голосом шелестит Аполек, – после ужина, если пану писарю будет угодно...

Мне угодно. Зажженный началом Аполековой истории, я расхаживаю по кухне и жду заветного часа. А за окном стоит ночь, как черная колонна. За окном окоченел живой и темный сад. Млечным и блещущим потоком льется под луной дорога к костелу. Земля выложена сумрачным сиянием, ожерелья светящихся плодов повисли на кустах. Запах лилий чист и крепок, как спирт. Этот свежий яд впивается в жирное бурливое дыхание плиты и мертвит смолистую духоту ели, разбросанной по кухне.

Аполек в розовом банте и истертых розовых штанах копошится в своем углу, как доброе и грациозное животное. Стол его измазан клеем и красками. Старик работает мелкими и частыми движениями, тишайшая мелодическая дробь доносится из его угла. Старый Готфрид выбивает ее своими трепещущими пальцами. Слепец сидит недвижимо в желтом и масляном блеске лампы. Склонив лысый лоб, он слушает нескончаемую музыку своей слепоты и бормотание Аполека, вечного друга.

– ...И то, что говорят пану попы и евангелист Марк и евангелист Матфей, – то не есть правда... Но правду можно открыть пану писарю, которому за пятьдесят марок я готов сделать портрет под видом блаженного Франциска на фоне зелени и неба. То был совсем простой святой, пан Франциск. И если у пана писаря есть в России невеста... Женщины любят блаженного Франциска, хотя не все женщины, пан...

Так началась в углу, пахнувшем елью, история о браке Иисуса и Деборы. Эта девушка имела жениха, по словам Аполека. Ее жених был молодой израильтянин, торговавший слоновыми бивнями. Но брачная ночь Деборы кончилась недоумением и слезами. Женщиной овладел страх, когда она увидела мужа, приблизившегося к ее ложу. Икота раздула ее глотку. Она изрыгнула все съеденное ею за свадебной трапезой. Позор пал на Дебору, на отца ее, на мать и на весь род ее. Жених оставил ее, глумясь, и созвал всех гостей. Тогда Иисус, видя томление женщины, жаждавшей мужа и боявшейся его, возложил на себя одежду новобрачного и, полный сострадания, соединился с Деборой, лежавшей в блевотине. Потом она вышла к гостям, шумно торжествуя, как женщина, которая гордится своим падением. И только Иисус стоял в стороне. Смертельная испарина выступила на его теле, пчела скорби укусила его в сердце. Никем не замеченный, он вышел из пиршественного зала и удалился в пустынную страну, на восток от Иудеи, где ждал его Иоанн. И родился у Деборы первенец...

– Где же он? – вскричал я.

– Его скрыли попы, – произнес Аполек с важностью и приблизил легкий и зябкий палец к своему носу пьяницы.

– Пан художник, – вскричал вдруг Робацкий, поднимаясь из тьмы, и серые уши его задвигались, – цо вы мувите? То же есть немислимо...

– Так, так, – съезжился Аполек и схватил Готфрида, – так, так, пане...

Он потащил слепца к выходу, но на пороге помедлил и поманил меня пальцем.

– Блаженный Франциск, – прошептал он, мигая глазами, – с птицей на рукаве, с голубем или щеглом, как пану писарю будет угодно...

И он исчез со слепым и вечным своим другом.

– О, дурацтво! – произнес тогда Робацкий, костельный служка. – Тен человек не умрет на своей постели...

Пан Робацкий широко раскрыл рот и зевнул, как кошка. Я распрощался и ушел ночевать к себе домой, к моим обворованным евреям.

По городу слонялась бездомная луна. И я шел с ней вместе, отогревая в себе неисполненные мечты и нестройные песни.

Солнце Италии

Я снова сидел вчера в людской у пани Элизы под нагретым венцом из зеленых ветвей ели. Я сидел у теплой, живой, ворчливой печи и потом возвращался к себе глубокой ночью. Внизу у обрыва бесшумный Збруч катил стеклянную темную волну. Душа, налитая томительным хмелем мечты, улыбалась неведомо кому, и воображение, – слепая, счастливая баба, – клубилось впереди июльским туманом.

Обгорелый город – переломленные колонны и врытые в землю крючки злых старушечьих мизинцев – казался мне поднятым на воздух, удобным и небывалым, как сновиденье. Голый блеск луны лился на него с неиссякаемой силой. Сырая плесень развалин цвела, как мрамор оперной скамьи. И я ждал потревоженной душой выхода Ромео из-за туч, атласного Ромео, поющего о любви, в то время как за кулисами понурый электротехник держит палец на выключателе луны.

Голубые дороги текли мимо меня, как струи молока, брызнувшие из многих грудей. Возвращаясь домой, я страшился встречи с Сидоровым, моим соседом, опускавшим на меня по ночам волосатую лапу своей тоски. По счастью, в эту ночь, растерзанную молоком луны, Сидоров не проронил ни слова. Обложившись книгами, он писал. На столе дымилась горбатая свеча – зловещий костер мечтателей. Я сидел в стороне, дремал, сны прыгали вокруг меня, как котят. И только поздней ночью меня разбудил ординарец, вызвавший Сидорова в штаб. Они ушли вместе. Я подбежал тогда к столу, на котором писал Сидоров, и перелистал книги. Это был самоучитель итальянского языка, изображение Римского форума и план города Рима. План был весь размечен крестами и точками. Неясный хмель спал с меня. Я наклонился над исписанным листом и с замирающим сердцем, ломая пальцы, прочитал чужое письмо. Сидоров, тоскующий убийца, изорвал в клочья розовую вату моего воображения и потащил меня в коридоры здравомыслящего своего безумия. Письмо начиналось со второй страницы, я не осмелился искать начала:

«...Пробито легкое, и маленько рехнулся, или, как говорит Сергей, с ума слетел. Не сходить же с него, в самом деле, с дурака этого, с ума. Впрочем, хвост набок и шутки в сторону... Обратимся к повестке дня, друг мой Виктория...

Я проделал трехмесячный махновский поход – утомительное жульничество, и ничего более... И только Волин все еще там. Волин рядится в апостольские ризы и карабкается в Ленины от анархизма. Ужасно. А батко слушает его, поглаживает пыльную проволоку своих кудрей и пропускает сквозь гнилые зубы длинную змею мужицкой своей усмешки. И я теперь не знаю, есть ли во всем этом не сорное зерно анархии и утрем ли мы вам ваши благополучные носы, самодельные цекисты из самодельного цеха, made in Харьков, в самодельной столице. Ваши рубахи-парни не любят теперь вспоминать грехи анархической их юности и смеются над ними с высоты государственной мудрости – черт с ними...

А потом я попал в Москву. Как попал я в Москву? Ребята кого-то обижали в смысле реквизиционном и ином. Я, слюняй, вступился. Меня расчесали – и за дело. Рана была пустяковая, но в Москве, ах, Виктория, в Москве я онемел от несчастий. Каждый день госпитальные сиделки приносили мне крупицу каши. Взнузданные благоговением, они тащили ее на большом подносе, и я возненавидел эту ударную кашу, внеплановое снабжение и плановую Москву. В совете встретился потом с горсточкой анархистов. Они пижоны или полупомешанные старички. Сунулся в Кремль с планом настоящей работы. Меня погладили по головке и обещали сделать замом, если исправлюсь. Я не исправился. Что было дальше? Дальше был фронт, Конармия и солдатня, пахнущая сырой кровью и человеческим прахом.

Спасите меня, Виктория. Государственная мудрость сводит меня с ума, скука пьянит. Вы не поможете – и я издохну безо всякого плана. Кто же захочет, чтобы работник подошел столь неорганизованно, не вы ведь, Виктория, невеста, которая никогда не будет женой. Вот и сентиментальность, ну ее к распроездовой матери...

Теперь будем говорить дело. В армии мне скучно. Ездить верхом из-за раны я не могу, – значит, не могу и драться. Употребите ваше влияние, Виктория, – пусть отправят меня в Италию. Язык я изучаю и через два месяца буду на нем говорить. В Италии земля тлеет. Многое там готово. Недостает пары выстрелов. Один из них я произведу. Там нужно отправить короля к праотцам. Это очень важно. Король у них славный дядя, он играет в популярность и снимается с ручными социалистами для воспроизведения в журналах семейного чтения.

В Чека, в Наркоминделе вы не говорите о выстреле, о королях. Вас погладят по головке и промямят: „романтик“. Скажите просто, – он болен, зол, пьян от тоски, он хочет солнца Италии и бананов. Заслужил ведь или, может, не заслужил? Лечиться – и баста. А если нет – пусть отправят в одесское Чека... Оно очень толковое и...

Как глупо, как незаслуженно и глупо пишу я, друг мой Виктория...

Италия вошла в сердце как наваждение. Мысль об этой стране, никогда не виданной, сладка мне, как имя женщины, как ваше имя, Виктория...»

Я прочитал письмо и стал укладываться на моем продавленном нечистом ложе, но сон не шел. За стеной искренне плакала беременная еврейка, ей отвечало стонущее бормотание долговязого мужа. Они вспоминали об ограбленных вещах и злобствовали друг на друга за незадачливость. Потом, перед рассветом, вернулся Сидоров. На столе задыхалась догоревшая свеча. Сидоров вынул из сапога другой огарок и с необыкновенной задумчивостью придавил им оплывший фитилек. Наша комната была темна, мрачна, все дышало в ней ночной сырой вонью, и только окно, заполненное лунным огнем, сияло, как избавление.

Он пришел и спрятал письмо, мой томительный сосед. Сутулясь, сел он за стол и раскрыл альбом города Рима. Пышная книга с золотым обрезом стояла перед его оливковым невыразительным лицом. Над круглой его спиной блестели зубчатые развалины Капитолия и арена цирка, освещенная закатом. Снимок королевской семьи был заложен тут же, между большими глянцевыми листами. На клочке бумаги, вырванном из календаря, был изображен приветливый тщедушный король Виктор-Эммануил со своей черноволосой женой, с наследным принцем Умберто и целым выводком принцесс.

...И вот ночь, полная далеких и тягостных звонов, квадрат света в сырой тьме – и в нем мертвенное лицо Сидорова, безжизненная маска, нависшая над желтым пламенем свечи.

Гedaли

В субботние кануны¹⁵ меня томит густая печаль воспоминаний. Когда-то в эти вечера мой дед поглаживал желтой бородой томы Ибн-Эзра. Старуха в кружевной наколке ворожила узловатыми пальцами над субботней свечой и сладко рыдала. Детское сердце раскачивалось в эти вечера, как кораблик на заколдованных волнах. О, истлевшие талмуды моего детства! О, густая печаль воспоминаний!

Я кружу по Житомиру и ищу робкой звезды. У древней синагоги, у ее желтых и равнодушных стен старые евреи продают мел, синьку, фитили, – евреи с бородами пророков, со страстными лохмотьями на впалой груди...

Вот предо мною базар и смерть базара. Убита жирная душа изобилия. Немые замки висят на лотках, и гранит мостовой чист, как лысина мертвеца. Она мигает и гаснет – робкая звезда...

Удача пришла ко мне позже, удача пришла перед самым заходом солнца. Лавка Гedaли спряталась в наглухо закрытых торговых рядах. Диккенс, где была в тот вечер твоя тень? Ты увидел бы в этой лавке древностей золоченые туфли и корабельные канаты, старинный компас и чучело орла, охотничий винчестер с выгравированной датой «1810» и сломанную кастрюлю.

Старый Гedaли расхаживает вокруг своих сокровищ в розовой пустоте вечера – маленький хозяин в дымчатых очках и в зеленом сюртуке до полу. Он потирает белые ручки, он щиплет сивую бородавку и, склонив голову, слушает невидимые голоса, слетевшиеся к нему.

Эта лавка – как коробочка любознательного и важного мальчика, из которого выйдет профессор ботаники. В этой лавке есть и пуговицы, и мертвая бабочка. Маленького хозяина ее зовут Гedaли. Все ушли с базара, Гedaли остался. Он вьется в лабиринте из глобусов, черепов и мертвых цветов, помахивает пестрой метелкой из петушиных перьев и сдувает пыль с умерших цветов.

Мы сидим на бочонках из-под пива. Гedaли свертывает и разматывает узкую бороду. Его цилиндр покачивается над нами, как черная башенка. Теплый воздух течет мимо нас. Небо меняет цвета. Нежная кровь льется из опрокинутой бутылки там вверху, и меня обволакивает легкий запах тления.

– Революция – скажем ей «да», но разве субботе мы скажем «нет»? – так начинает Гedaли и обвивает меня шелковыми ремнями своих дымчатых глаз. – Да, кричу я революции, да, кричу я ей, но она прячется от Гedaли и высылает вперед только стрельбу...

– В закрывшиеся глаза не входит солнце, – отвечаю я старику, – но мы распорем закрывшиеся глаза...

– Поляк закрыл мне глаза, – шепчет старик чуть слышно. – Поляк – злая собака. Он берет еврея и вырывает ему бороду, – ах, пес! И вот его бьют, злую собаку. Это замечательно, это революция! И потом тот, который бил поляка, говорит мне: «Отдай на учет твой граммофон, Гedaли...» – «Я люблю музыку, пани», – отвечаю я революции. «Ты не знаешь, что ты любишь, Гedaли, я стрелять в тебя буду, тогда ты это узнаешь, и я не могу не стрелять, потому что я – революция...»

– Она не может не стрелять, Гedaли, – говорю я старику, – потому что она – революция...

– Но поляк стрелял, мой ласковый пан, потому что он – контрреволюция. Вы стреляете потому, что вы – революция. А революция – это же удовольствие. И удовольствие не любит в доме сирот. Хорошие дела делает хороший человек. Революция – это хорошее дело хороших людей. Но хорошие люди не убивают. Значит, революцию делают злые люди. Но поляки тоже

¹⁵ Имеется в виду Шаббат – священное для верующих иудеев время, когда запрещены все виды созидательной деятельности. Требуется оставить обычные повседневные дела, любую работу, посвятив себя Богу и общению с близкими. Шаббат начинается в пятницу вечером, с заходом солнца. Заканчивается Шаббат в субботу тоже на закате.

злые люди. Кто же скажет Гедали, где революция и где контрреволюция? Я учил когда-то Талмуд, я люблю комментарии Раше и книги Маймонида¹⁶. И еще другие понимающие люди есть в Житомире. И вот мы все, ученые люди, мы падаем на лицо и кричим на голос: горе нам, где сладкая революция?..

Старик умолк. И мы увидели первую звезду, пробивавшуюся вдоль Млечного Пути.

– Заходит суббота, – с важностью произнес Гедали, – евреям надо в синагогу... Пане товарищ, – сказал он, вставая, и цилиндр, как черная башенка, закачался на его голове, – привезите в Житомир немножко хороших людей. Ай, в нашем городе недостача, ай, недостача! Привезите добрых людей, и мы отдадим им все граммофоны. Мы не невежды. Интернационал... мы знаем, что такое Интернационал. И я хочу Интернационала добрых людей, я хочу, чтобы каждую душу взяли на учет и дали бы ей паек по первой категории. Вот, душа, кушай, пожалуйста, имей от жизни свое удовольствие. Интернационал, пане товарищ, это вы не знаете, с чем его кушают...

– Его кушают с порохом, – ответил я старику, – и приправляют лучшей кровью...

И вот она взошла на свое кресло из синей тьмы, юная суббота.

– Гедали, – говорю я, – сегодня пятница, и уже настал вечер. Где можно достать еврейский коржик, еврейский стакан чаю и немножко этого отставного Бога в стакане чаю?..

– Нету, – отвечает мне Гедали, навешивая замок на свою коробочку, – нету. Есть рядом харчевня, и хорошие люди торговали в ней, но там уже не кушают, там плачут...

Он застегнул свой зеленый сюртук на три костяные пуговицы. Он обмахал себя петушиными перьями, поплескал водицы на мягкие ладони и удалился – крохотным, одиноким, мечтательным, в черном цилиндре и с большим молитвенником под мышкой.

Заходит суббота. Гедали – основатель несбыточного Интернационала – ушел в синагогу молиться.

¹⁶ Раше (правильнее Раши – рабби Шломо Ицхаки; 1040–1105) – комментатор Библии и Талмуда. Маймонид (Моше бен Маймон; 1135–1204) – средневековый еврейский врач, философ и теолог.

Мой первый гусь

Савицкий, начдив шесть, встал, завидев меня, и я удивился красоте гигантского его тела. Он встал и пурпуром своих рейтуз, малиновой шапчонкой, сбитой набок, орденами, вколоченными в грудь, разрезал избу пополам, как штандарт разрезает небо. От него пахло духами и приторной прохладой мыла. Длинные ноги его были похожи на девушек, закованных до плеч в блестящие ботфорты.

Он улыбнулся мне, ударил хлыстом по столу и потянул к себе приказ, только что отдиктованный начальником штаба. Это был приказ Ивану Чеснокову выступить с вверенным ему полком в направлении Чугунов – Добрыводка и, войдя в соприкосновение с неприятелем, такового уничтожить...

«...Какое уничтожение, – стал писать начдив и измазал весь лист, – возлагаю на ответственность того же Чеснокова вплоть до высшей меры, которого и шлепну на месте, в чем вы, товарищ Чесноков, работая со мною на фронтах не первый месяц, не можете сомневаться...»

Начдив шесть подписал приказ с завитушкой, бросил его ординарцам и повернул ко мне серые глаза, в которых танцевало веселье.

– Сказывай! – крикнул он и рассек воздух хлыстом.

Потом он прочитал о прикомандировании меня к штабу дивизии.

– Провести приказом! – сказал начдив. – Провести приказом и зачислить на всякое удовольствие, кроме переднего. Ты грамотный?

– Грамотный, – ответил я, завидуя железу и цветам этой юности, – кандидат прав Петербургского университета...

– Ты из киндербальзамов, – закричал он, смеясь, – и очки на носу. Какой паршивенький!.. Шлют вас, не спросясь, а тут режут за очки. Поживешь с нами, што ль?

– Поживу, – ответил я и пошел с квартирьером на село искать ночлега.

Квартирьер нес на плечах мой сундучок, деревенская улица лежала перед нами, круглая и желтая, как тыква, умирающее солнце испускало на небе свой розовый дух.

Мы подошли к хате с расписными венцами, квартирьер остановился и сказал вдруг с виноватой улыбкой:

– Канитель тута у нас с очками, и унять нельзя. Человек высшего отличия – из него здесь душа вон. А испортъ вы даму, самую чистенькую даму, тогда вам от бойцов ласка...

Он помялся с моим сундучком на плечах, подошел ко мне совсем близко, потом отскочил, полный отчаяния, и побежал в первый двор. Казаки сидели там на сене и брили друг друга.

– Вот, бойцы, – сказал квартирьер и поставил на землю мой сундучок. – Согласно приказания товарища Савицкого, обязаны вы принять этого человека к себе в помещение и без глупостей, потому этот человек пострадавший по ученой части...

Квартирьер побагровел и ушел, не оборачиваясь. Я приложил руку к козырьку и отдал честь казакам. Молодой парень с льяным висячим волосом и прекрасным рязанским лицом подошел к моему сундучку и выбросил его за ворота. Потом он повернулся ко мне задом и с особенной сноровкой стал издавать постыдные звуки.

– Орудия номер два нуля, – крикнул ему казак постарше и засмеялся, – крой беглым...

Парень истощил нехитрое свое умение и отошел. Тогда, ползая по земле, я стал собирать рукописи и дырявые мои обноски, вывалившиеся из сундучка. Я собрал их и отнес на другой конец двора. У хаты, на кирпичиках, стоял котел, в нем варилась свинина, она дымилась, как дымится издалека родной дом в деревне, и путала во мне голод с одиночеством без примера. Я покрыл сеном разбитый мой сундучок, сделал из него изголовье и лег на землю, чтобы про честь в «Правде» речь Ленина на Втором конгрессе Коминтерна. Солнце падало на меня из-за

зубчатых пригорков, казаки ходили по моим ногам, парень потешался надо мной без усталости, излюбленные строчки шли ко мне тернистой дорогой и не могли дойти. Тогда я отложил газету и пошел к хозяйке, сучившей пряжу на крыльце.

– Хозяйка, – сказал я, – мне жрать надо...

Старуха подняла на меня разлившиеся белки полуослепших глаз и опустила их снова.

– Товарищ, – сказала она, помолчав, – от этих дел я желаю повеситься.

– Господа бога душу мать, – пробормотал я тогда с досадой и толкнул старуху кулаком в грудь, – толковать тут мне с вами...

И отвернувшись, я увидел чужую саблю, валявшуюся неподалеку. Строгий гусь шатался по двору и безмятежно чистил перья. Я догнал его и пригнул к земле, гусиная голова треснула под моим сапогом, треснула и потекла. Белая шея была разостлана в навозе, и крылья заходили над убитой птицей.

– Господа бога душу мать! – сказал я, копаясь в гусе саблей. – Изжарь мне его, хозяйка.

Старуха, блестя слепотой и очками, подняла птицу, завернула ее в передник и потащила к кухне.

– Товарищ, – сказала она, помолчав, – я желаю повеситься, – и закрыла за собой дверь.

А на дворе казаки сидели уже вокруг своего котелка. Они сидели недвижимо, прямые, как жрецы, и не смотрели на гуся.

– Парень нам подходящий, – сказал обо мне один из них, мигнул и зачерпнул ложкой щи.

Казаки стали ужинать со сдержанным изяществом мужиков, уважающих друг друга, а я вытер саблю песком, вышел за ворота и вернулся снова, томясь. Луна висела над двором, как дешевая серьга.

– Братишка, – сказал мне вдруг Суровков, старший из казаков, – садись с нами снедать, покеле твой гусь доспеет...

Он вынул из сапога запасную ложку и подал ее мне. Мы похлебали самодельных щей и съели свинину.

– В газете-то что пишут? – спросил парень с льяным волосом и опростал мне место.

– В газете Ленин пишет, – сказал я, вытаскивая «Правду», – Ленин пишет, что во всем у нас недостача...

И громко, как торжествующий глухой, я прочитал казакам ленинскую речь.

Вечер завернул меня в живительную влагу сумеречных своих простынь, вечер приложил материнские ладони к пылающему моему лбу.

Я читал и ликовал и подстерегал, ликуя, таинственную кривую ленинской прямой.

– Правда всякую ноздрю щекочет, – сказал Суровков, когда я кончил, – да как ее из кучи вытащить, а он бьет сразу, как курица по зерну.

Это сказал о Ленине Суровков, взводный штабного эскадрона, и потом мы пошли спать на сеновал. Мы спали шестеро там, согреваясь друг от друга, с перепутанными ногами, под дырявой крышей, пропускавшей звезды.

Я видел сны и женщин во сне, и только сердце мое, обгаренное убийством, скрипело и текло.

Рабби¹⁷

– ...Все смертно. Вечная жизнь суждена только матери. И когда матери нет в живых, она оставляет по себе воспоминание, которое никто еще не решился осквернить. Память о матери питает в нас сострадание, как океан, безмерный океан питает реки, рассекающие вселенную...

Слова эти принадлежали Гедали. Он произнес их с важностью. Угасающий вечер окружал его розовым дымом своей печали. Старик сказал:

– В страстном здании хасидизма¹⁸ вышиблены окна и двери, но оно бессмертно, как душа матери... С вытекшими глазницами хасидизм все еще стоит на перекрестке яростных ветров истории.

Так сказал Гедали, и, помолившись в синагоге, он повел меня к рабби Моталэ, к последнему рабби из Чернобыльской династии.

Мы поднялись с Гедали вверх по главной улице. Белые костелы блеснули вдали, как гречишные поля. Орудийное колесо простонало за углом. Две беременные хохлушки вышли из ворот, зазвенели монистами и сели на скамью. Робкая звезда зажглась в оранжевых боях заката, и покой, субботний покой, сел на кривые крыши житомирского гетто.

– Здесь, – прошептал Гедали и указал мне на длинный дом с разбитым фронтоном.

Мы вошли в комнату – каменную и пустую, как морг. Рабби Моталэ сидел у стола, окруженный бесноватыми и лжецами. На нем была соболья шапка и белый халат, стянутый веревкой. Рабби сидел с закрытыми глазами и рылся худыми пальцами в желтом пухе своей бороды.

– Откуда приехал еврей? – спросил он и приподнял веки.

– Из Одессы, – ответил я.

– Благочестивый город, – сказал вдруг рабби с необыкновенной силой, – звезда нашего изгнания, невольный колодезь наших бедствий!.. Чем занимается еврей?

– Я перекладываю в стихи походжения Герша из Острополя.

– Великий труд, – прошептал рабби и сомкнул веки. – Шакал стонет, когда он голоден, у каждого глупца хватает глупости для уныния, и только мудрец раздражает смехом завесу бытия... Чем учился еврей?

– Библии.

– Чего ищет еврей?

– Веселья.

– Реб Мордхэ, – сказал цадик¹⁹ и затряс бородой, – пусть молодой человек займет место за столом, пусть он ест в этот субботний вечер вместе с остальными евреями, пусть он радуется тому, что он жив, а не мертв, пусть он хлопает в ладоши, когда его соседи танцуют, пусть он пьет вино, если ему дадут вина...

И ко мне подскочил реб Мордхэ, давнишний шут с вывороченными веками, горбатый старикашка, ростом не выше десятилетнего мальчика.

– Ах, мой дорогой и такой молодой человек! – сказал оборванный реб Мордхэ и подмигнул мне. – Ах, сколько богатых дураков знал я в Одессе, сколько нищих мудрецов знал я в Одессе! Садитесь же за стол, молодой человек, и пейте вино, которого вам не дадут...

¹⁷ Рабби (идиш – ребе) – учитель, знаток Священного Писания и Талмуда. 1) Учитель в иудейской начальной школе хедере. 2) Уважительное обращение к раввину, принятое среди ашкеназских евреев. 3) В хасидизме – титул духовного главы хасидского течения, «двора» или «династии».

¹⁸ Хасидизм (от слова «хасид» (*ивр.*) – «благочестивый») – религиозное течение в иудаизме, которое возникло и получило распространение среди еврейского населения в первой половине XVIII в. на территории Речи Посполитой и прилегающих земель. Особенное значение в хасидизме придается эмоциональному постижению Бога.

¹⁹ Цадик – духовный лидер хасидской общины.

Мы уселись все рядом – бесноватые, лжецы и ротозеи. В углу стонали над молитвенниками плечистые евреи, похожие на рыбаков и на апостолов. Гедали в зеленом сюртуке дремал у стены, как пестрая птичка. И вдруг я увидел юношу за спиной Гедали, юношу с лицом Спинозы²⁰, с могущественным лбом Спинозы, с чахлым лицом монахини. Он курил и вздрагивал²¹, как беглец, приведенный в тюрьму после погони. Оборванный Мордхэ подкрался к нему сзади, вырвал папиросу изо рта и отбежал ко мне.

– Это – сын рабби Илья, – прохрипел Мордхэ и придвинул ко мне кровоточащее мясо развороченных век, – проклятый сын, последний сын, непокорный сын...

И Мордхэ погрозил юноше кулачком и плюнул ему в лицо.

– Благословен Господь, – раздался тогда голос рабби Моталэ Брацлавского, и он переломил хлеб своими монашескими пальцами, – благословен Бог Израиля, избравший нас между всеми народами земли...

Рабби благословил пищу, и мы сели за трапезу. За окном ржали кони и вскрикивали казаки. Пустыня войны зевала за окном. Сын рабби курил одну папиросу за другой среди молчания и молитвы. Когда кончился ужин, я поднялся первый.

– Мой дорогой и такой молодой человек, – забормотал Мордхэ за моей спиной и дернул меня за пояс, – если бы на свете не было никого, кроме злых богачей и нищих бродяг, как жили бы тогда святые люди?

Я дал старику денег²² и вышел на улицу. Мы расстались с Гедали, я ушел к себе на вокзал. Там, на вокзале, в агитпоезде 1-й Конной армии меня ждало сияние сотен огней, волшебный блеск радиостанции, упорный бег машин в типографии и недописанная статья в газету «Красный кавалерист».

²⁰ Спино́за Бару́х (Бенедикт; 1632–1677) – нидерландский философ еврейского происхождения, один из главных представителей философии Нового времени. Большинство работ написано на латинском языке. За свободомыслие был отлучен от еврейской общины (1656); жил уединенно, зарабатывая на жизнь шлифовкой оптических стекол; отклонил приглашение занять кафедру в Гейдельберге.

²¹ Иудеям категорически запрещено зажигать огонь и курить в субботу.

²² Действие, противоречащее иудейской традиции: в субботу иудеям категорически запрещено прикасаться к деньгам.

Путь в Броды

Я скорблю о пчелах. Они истерзаны враждующими армиями. На Волыни нет больше пчел.

Мы осквернили неописуемые ульи. Мы морили их серой и взрывали порохом. Чадившее тряпье издавало зловонье в священных республиках пчел. Умирая, они летали медленно и жужжали чуть слышно. Лишенные хлеба, мы саблями добывали мед. На Волыни нет больше пчел.

Летопись будничных злодеяний теснит меня неутомимо, как порок сердца. Вчера был день первого побоища под Бродами. Заблудившись на голубой земле, мы не подозревали об этом – ни я, ни Афонька Бида, мой друг. Лошади получили с утра зерно. Рожь была высока, солнце было прекрасно, и душа, не заслужившая этих сияющих и улетающих небес, жаждала неторопливых болей. Поэтому я заставил непоколебимые уста Афоньки наклониться к моим печалям.

– За пчелу и ее душевность рассказывают бабы по станицам, – ответил взводный, мой друг, – рассказывают всяко. Обидели люди Христа или не было такой обиды – об этом все прочие дознаются по происшествию времени. Но вот, – рассказывают бабы по станицам, – скучает Христос на кресте. И подлетает к Христу всякая мошка, чтобы его тиранить. И он глядит на нее глазами и падает духом. Но только неисчислимой мошке не видно евоных глаз. И то же самое летает вокруг Христа пчела. «Бей его, – кричит мошка пчеле, – бей его на наш ответ!..» – «Не умею, – говорит пчела, поднимая крылья над Христом, – не умею, он плотницкого классу...» Пчелу понимать надо, – заключает Афонька, мой взводный. – Нехай пчела перетерпит. И для нее небось ковыряемся...

И, махнув руками, Афонька затянул песню. Это была песня о соловом жеребчике. Восемь казаков – Афонькин взвод – стали ему подпевать.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.